Артем
ВЕСЕЛЫЙ
Россия, кровью умытая

Артём Веселый

Россия, кровью умытая

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2376855
Россия, кровью умытая: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-52034-3

Аннотация

Роман Артема Веселого (1899–1938) «Россия, кровью умытая» запечатлел облик революционной России, охваченной огнем Гражданской войны, в экспрессивно-орнаментальном стиле. Незабываемый образ России писателю удалось воплотить благодаря бескомпромиссной смелости, но ценою собственной жизни. После гибели писателя роман был запрещен к изданию на долгих 20 лет, «убран с библиотечных полок: какие-то экземпляры уничтожены, а какие-то уцелели и попали в так называемый спецхран». В настоящее время включен в школьную программу. В XXI веке роман издается впервые.

Содержание

Смертию смерть поправ 4
Слово рядовому солдату 10
Пожар горит-разгорается 30
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Артем Веселый
Россия, кровью умытая

Смертию смерть поправ

В России революция —
дрогнула мати
сыра земля, замутился
белый свет…

Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.

По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.

Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головни в ульи людских скопищ, в костры городов.

По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все живое.

От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не умолкая бухали молоты войны.

Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови воюющих народов.

Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и Турецкая Армения были объяты пламенем горящих деревень и городов. Дороги… По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.

Грозен – в багровых бликах – закатывался тысяча девятьсот шестнадцатый год.

Серп войны пожинал жизни колосья.

Церкви и мечети, кирки и костелы были переполнены плачущими, скорбящими, стенающими, распростертыми ниц.

Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гнилыми сапогами, пушками, снарядами… И все это фронт пожирал, изнашивал, рвал, расстреливал.

В клещах голода и холода корчились города, к самому небу неслись стоны деревень, но не умолкаючи грохотали военные барабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей, вопли жен и матерей.

Горе гостило, и беды свивали гнезда в аулах Чечни и под крышей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне. Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором – против дорогого имени – горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбачка, с тоскою глядючи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев – под телегою – рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихаючи вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.

Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья…

И лишь в дворцах раззолоченных – Москвы, Парижа и Вены – сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.

– Война до победы!

Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином:

– Война до победы!

А там – на полях – огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.

Кресты и могилы, могилы и кресты.

Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.

В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии – на самых каторжных работах – работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.

Лазареты… Приюты скорби, убежища страданий… Искалеченные, обмороженные, контуженые, отравленные газом – с раздробленными костями и смердящими ранами – метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыданья с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!

Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.

Страна была пьяна горем.

Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.

Война пожирала людей, хлеб, скот.

В степях поредели табуны коней и отары овец.

Сорные травы затягивали брошенные поля, бураны засыпа́ли поваленные осенними ветрами неубранные хлеба.

По дорогам поползли и поехали куда глаза глядят первые беспризорники.

Отказывала промышленность – не хватало топлива, сырья, рабочих рук, – закрывались фабрики и заводы.

Отказывал транспорт – лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклевывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.

Письма с фронта…

> «Бесценная моя супруженица!
>
> Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со свояком Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на леченье в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу заявится.
>
> Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: «Еще сто лет воевать буду». Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.

Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу – читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана – читаю.

Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: «За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно…»

К сему подписуюсь
Максим Кужель».

Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.

А там – на далеких полях – снегами да вьюгами крылась молодость!

В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколки снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополуночи приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовьсь к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов, и по команде: «С богом, выходи!» – люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валились… Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду – и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задергался сормовский слесарь Игнат Лысаченко – хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, – то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан – не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, – и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот – взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой – придет весна, синим куром задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле… Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.

Потоки огня и стали размывали материки армий.

Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях – оглашались по церквам и на базарных площадях.

Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и

городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи – отцы семейств; шли юноши – прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены – мужа, у детей – отца и кормильца.

Война, война…

Под рев и визг гармоней
кипели сердца
кипели голоса:

Береза ты, береза,
Зеленые прутики,
Пожалейте нас, девчонки,
Нынче мы некрутики…

Шальные, растерзанные, орущие – ватагами – шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропащие песни…

Медна мера загремела
Над моею головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной…

– Гуляй, ребята… Последние наши денечки… Гуляй, защитники царя, веры и отечества!

– Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори… Я *там* был, мед и брагу пил… Слова твои мне – все равно что собаке палка.

– Брательник, тяпнем горюшка?

– Тяпнем, брат.

Посмотрели брат на брата,
Покачали головой,
Запропали, запропали
Наши головы с тобой…

Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился вприсядку.

– Всю Ерманию разроем!

– Уймись, – унимала его не видящая света жена. – Уймись, пузырек скипидарный.

Петруха из оглобель рвался:

– Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный.

Старуха – лицо подобно гнилому ядру ореха – простирала землистые руки:

– Гришенька, дай обнять в останный разочек.

– Не горюй, бабаня, и на войне не всех убивают.

– Сердцу тошно… Гришенька, внучек ты мой жаланный… Помолись на церковь-то, касатик.

– Сват, прощай!

– Час добрый.

– Война…

– Ох, не чаем и отмаяться.

– Не вино меня качает, меня горюшко берет.

– А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся…

– Будя, будя, бабаня.

Последние объятия, последние поцелуи.

И далеко за околицей – в кругу немых полей – понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.

И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:

– Последнего… Последнего… Ух… Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мой виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?

Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы:

– Последнего забрали… Да он и вырасти-то не успел… Последнего! Ух, ух… Сыночки вы мои, головушки победные…

Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней округи – на вой ее – воем отзывались волки.

По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири – кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли – шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.

В приемных – страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.

Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора.

– Годен. Следующий.

Призывники тащили жеребья.

– Лоб!

И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клок волос.

– Лоб!

На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.

Из приемной вылетали, будто из бани, – красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.

– Забрили… Тятяша, вынули из меня душу.

– Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал…

– У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.

– Что ты будешь делать… На все воля божья… Послужи – не ты первый, не ты и последний.

– Васька, – лезет тетка через народ, – не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него…

– Пьянай, с ног долой… За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.

– Ох, горе мое… Сколько раз наказывала – не пей, Васенька… Нет, опять накушался.

– Прощай, Волга! Прощай, лес!

Казарма

скорое обучение

молебен

вокзал.

…У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надсевшим голосом тянул:

– Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…

Рявкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.

Толпа забурлила.

Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.

С новой силой пыхнули бабьи визги.

Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.

Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Левой рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую – с зажатым в кулаке растаявшим сахарным пряником – протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:

– Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…

Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегоном.
На Ригу, Полоцк
Киев и Тирасполь
Тифлис, Эривань
катили эшелоны.

Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах – на извозчиках – скакали в бардаки.

В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотанье полупьяного дьячка:

– Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов – Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватея – помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический восприявших… Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Вечная память!

С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.

Над миром стлалась погребальная песнь.

Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.

Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков…

Слово рядовому солдату Максиму Кужелю

В России революция,
вся Россия – митинг.

Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.

Фронтовики диву дались.

Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу… Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии – переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катай, братцы, благодарственные молебны.

Рады стараться!

Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.

– Право равняйсь!.. Смирно! Шапки до-лой!

Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:

– Благословен бог наш…

Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже… Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.

– Миром господу помолимся…

Обкидываем себя крестным знамением, валимся на колени, лбами в землю бьем… «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немытый… И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбине и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»

Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру…

Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.

Помолились, оправились, ждем, что будет.

Выезжает перед строем дивизионный генерал – борода седая, грудь в крестах и голос навыкате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал:

– Братцы, его императорского величества, государя императора Николая Александровича у нас больше нет…

Помахал генерал телеграммкой, заплакал.

А солдаты испугались и молчали.

Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:

ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!

Дух занялся!

Музыка заиграла!

Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим, – не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать…

– Братцы, старый режим окончился… Восхваление чинов отменяется… Превосходительств теперь не будет, благородий не будет… Господин генерал, господин полковник и господин взводный… Дожили до свободы, все равны… Но что бы там ни было, присягу в голове держи… Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети…

Прорвалось:

– Ура!

– Ура-а!

– Ура-а-а!

Музыка все наши крики заглушила.

Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат:

– Помни устав, люби службу, не забывай веру, отечество… Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия… На ваше беззаветное геройство глядит весь мир…

Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:

– Ура!

– Ура-а!

– Ура-ааа… Ааа… Аааaа…

– Пострадали.

– Полили кровь…

– Триста лет.

– Хватит!

– Браво!

– Царя к шаху-монаху на постны щи!

Уважил нас старик словом ласковым. Сыстари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство – хоть стой, хоть падай – все равны, слава, серые орлы… Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, приняли мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров бережненько стащили генерала с коня и давай его качать.

Хватил полковой оркестр.

Отдышался старик, бороду разгладил и с молодцеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю:

– Поцелуемся, братец!

И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.

Полк ахнул.

Мы стояли как каменные и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.

Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу… Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно – и солдаты, и офицеры, и писаря, – лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:

– Неправда!.. Царь у нас есть и Бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами Бог и крестная сила! – Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказу, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.

Не до него нам было.

До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.

Все были как пьяные.

Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.

Дело, помню, Великим постом делалось.

Распустили мы над окопами красный флаг: войне – киты!

Живем месяц, живем другой, проводили Святую неделю, Троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками гли-

няные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей работе хрип гнули и неуемной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.

Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоящее барахлишко, а домой, думаю, вернусь – пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.

Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры…

В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там – каждый нижний чин и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке – фронт научил, и два Георгия в грудь не задарма влеплены. Вторая рота в голос порешила:

– Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.

То ли от страху, то ли от радости руки у меня дрожат – папироску сворачиваю, – однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:

– Служил царю, послужу и псарю… Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.

– Крой, Кужель.

– В обиду не дадим.

– Верой и правдой чтоб.

Закрутил я ус кренделем – и в комитет.

На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь – стоп! Вытянешься – того гляди, шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось – и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?», а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.

И смешно, и дивно…

Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.

Дальше – больше, о доме разговоры пошли.

– Скоро ли?

– Да как?

– Пора бы…

– Сиди тут, как проклятый.

– Покинуты, заброшены…

– Защитники, скотинка бессловесная.

Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет словцо:

– Как там?

– Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замиренье выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.

– Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.

– Помни долг службы.

– Больно долог долг-то, конца ему не видать.

– Много ждали, немного надо подождать.

Тут у нас разговор глубже зарывался.

– Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.

– За богом молитва, за родиной служба не пропадет.

– Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет. Довольно. Домой.

Начальники свое:

– Расея наша мать.

Мы:

– Домой.

Они знай долдонят:

– Геройство, лавры, долг…

А мы:

– Домой.

Они:

– Честь русского оружия.

Мы в упор:

– Хрен с ней, и с честью-то, – говорим, – домой, домой и домой!

– Присягу давали?

– Эх, крыть нам нечем, верно, давали… – И какая стерва выдумала эту самую присягу на нашу погибель?

Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько остывать.

С горя, с досады удумали с соседними частями связаться. Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрелковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, распояской гуляют, а которые босиком и без фуражек.

– Где у вас комитет, землячок?

– Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.

Вваливаемся в штаб.

Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по локоть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем, стекло о кирпич точил.

– Рассказывай, председатель, какие у вас дела?

– Дела, – говорит, – маковые…

И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока Серомах не выбрился. Оставшийся жеребиек стекла он завернул в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные скулы, поздоровался с нами за руки:

– Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту… Гайда в землянку, чаем угощу.

Чаек, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску, с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирал, в разведку ходючи, и председатель рассказывал нам, как они своего полкового командира за его паскудное изуверство перевели на кухню кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требованием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать, пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-собором и гайда по домам.

– По домам так вместе, – говорим, – и мы тут зимовать не думаем.

– Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.

Провожал нас Серомах, опять шутил:

– Жизня, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого…

Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаючи.

Живем и пятый, и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.

Выползешь вечером из землянки – лес, горы, колючка – убогий край… То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там – степь! Да такая степь – ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь…

Сидишь так-то, пригорюнишься…

С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:

– Аллах вар… Аллах сахих… Аллах рахмаи, рахим… Ля илаха ил-ла-л-лаху… Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи…

От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем:

– Кардаш, домой хочется? – спросит русский.

– Чох, истер чох! – Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.

– Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора… *Наш* спрыгнул с трона, и вы *своего* толкайте.

Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза защурят, а русский понимает – и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.

– Яман офицер? Секим башка?

– Уу, чакыр яман.

– Собака юзбаши?

– Кцпек юзбаши… Яман… Бизым карным хер вакыт аджды.

Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покрикивает:

– Беговая… Рысистая… С поросенка!

Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатили они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.

Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:

– Видишь?

– Вижу.

– Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка… Угадай, какой они породы?

– Обе солдатской породы, – отвечает Осман на турецком языке. – Хэп сибир аскерлы…

– Верно! – орет Макарка Сычев. – За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную кровь лить?.. Не одна ли нас вошь ест и не одну ли мы гложем корку хлеба?

– Кардаш, чох яхши, чох! – закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?

Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, задушевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо – ходу дай! Балалайки как хватят, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальню сторонушку…

Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.

Приходим.

– Салям алейкум.

– Сатраствуй, сатраствуй.

Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.

– Приятель, чего поймал? – спрашивает русский.

– Блох.

– Как блоху? Воша.

– Блох.

– Почему белый?

– Маладой.

– Почему не прыгает?

– Глюпый.

Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно – и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.

– Яман дела?

– Яман, яман…

Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, пазы глиной и верблюжьими говяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут – в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках и чисто, и сухо – полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, – этим терпеть можно, эти еще сто лет провоюют и не охнут.

Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших уховертов умудрился – офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.

Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы тащат.

– Куда вы?

– В штаб дивизии.

– Чего там?

– Бежи все до одного… Комиссия приехала.

– Не насчет ли мира?

– Все может быть.

– А окопы, наша передовая линия?

– Нехай Балкан караулит.

До штаба дивизии восемь верст.

Бежим, пятки горят.

– Мир.

– Домой…

– Дай ты господи.

Довалились, языки повысунувши.

Народу набежало, народу…

Полковые знамена и красные флаги вьются, оркестры играют «Марсельезу».

– Кто приехал?

– Штатская комиссия по выборам в учредилку.

– Слава богу.

– Потише, потише…

Проскакал дивизионный, и полки замерли.

Вот чего-то прогугнил батя, но нам слушать его неинтересно.

Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться:

– Граждане солдаты и дорогие братья… Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери-Расеи!

Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.

Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает… Слушали его передние сотни, а задние – тысячи – по маханию рук старались догадаться, о чем он говорит.

До нашей роты хоть и не каждое слово, а долетало:

– …Граждане солдаты… Геройское племя… Государственная дума… Защита прав человека… Углубление революции… Революция… Фронт… Революция… Тыл… Наши доблестные союзники… Старая дисциплина… Слуги старого строя… Сознательный солдат… Партия социалистов-революционеров… Свобода, равенство, братство… Своею собственной рукой… Еще один удар… Революция… Контрреволюция… Война до полной победы… Ура!

Дивизию как бурей качнуло:

– Ура!

– А-а-а-а…

– Аа-а-а-а-а-а…

Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали: была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей, – и об нас, мол, не забывают.

В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.

Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались…

– «Война до победы», – говорю, – таковые слова для нас хуже отравы.

Остап Дуда скрипнул зубами:

– Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.

– Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? – Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. – Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется…

Кругом заговорили:

– Правильно.

– Неправильно.

– Долой белогорликов.

Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:

– Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь незнамо что… Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление… Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги… Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах… Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извощиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом… Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули – курят сигары, тянут винцо и ля-

ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, лля-ля, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля… Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!

Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали – деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:

– Монахов на фронт!

– Фабрикантов на фронт!

– Помещиков на фронт!

– Полицейских на фронт!

Кто-то кричит:

– Куда девали царя Николашку?

В суконной поддевке отвечает:

– Мы его судить думаем.

– Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.

– Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков, – смеется фейерверкер Пимоненко, – мы их сами разорвем и до турок не допустим.

– Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых…

– Сказани… Мы их слушали, нехай нас послушают…

Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно…

– Господа депутаты, – звонко кричит Остап Дуда, – вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку – кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили… Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим – еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу… На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги… Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила… Поглядите, господа депутаты, – показал он кругом, – поглядите и запомните: эти горы и долы напоены нашей кровью… Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом – прибавить жалованья; третьим долгом – улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!» – а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать – о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехваток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут… Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда – держись, Расея… Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами двинемся громить тылы… Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на кончик штыка!.. Чего я не так сказал – не обижайтесь, товарищи, наболело… Кончайте войну скорее и скорее!..

Мы:

– Ура, ура, ура…

Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и – в автомобиль, и – дралала…

А мы вдогонку ревем:

– Ми-и-и-и-ир!

Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.

Живем, о мире ни гугу.

Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не рассказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.

Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили до нас родные сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать – и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охота поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.

Так и жили, томились, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.

Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое – Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я – и пошли в Трапезунд на разведку.

Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыху – на митинг боялись опоздать. Напрасны были опасенья, митингов не переглядеть, не переслушать – и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.

На митинге нам открылась секретная картина:

– Бей буржуев, долой войну.

Справедливые слова!

Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.

– Нечего, – говорю, – ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком – и прощай, Макар, ноги озябли.

Товарищи меня держат:

– Постой, Максим, погоди.

– Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.

– Будь по-вашему, – говорю.

Заходим в духан, солдат полно.

Кто кушает чай, кто – чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги – платят, а нет – покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай – ваксы купить, не знай – табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не дозволяет солдату быть благородным.

Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.

– Какая в России власть?

– Нету в России власти.

– Дума? Наше Временное правительство?

– Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.

– А Керенский?

– Так его ж никто не слушает.

Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.

Один подвыпивший ефрейторишка шумит:

– Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!

Горячо говорил, курвин сын, а насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.

– Расея без власти сирота.

– Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется…

– Дивно.

– Самое дивное еще впереди.

– Где же та голова, что главнее всех голов?

– Всякая голова сама себе главная.

– А Учредительное собранье?

– Крест на учредилку! – смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. – Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды…

Бумагу – мандат – выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с Турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему провезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых – кругом ему льготы, кругом выгоды!

Мандат – во! – полдня читать надо.

– Где взял? – стали мы его допытывать.

– Где взял, там нет.

– Все-таки?

– Угадайте.

Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой – и давай его тормошить: скажи да скажи.

– За трешницу у ротного писаря купил.

– Ну-у?

– Святая икона, – сказал он и засмеялся… Да как, сукин сын, засмеялся… У нас ровно кошки вот тут заскребли.

Выпадет же человеку счастье…

Спрятал Иван Савостьянов мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.

В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова – станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячей мы не важивали, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.

– Здорово, Яков Федорович.

– Здорово, служба.

Обнялись, поцеловались.

– Далече?

– До дому.

– Какими судьбами?

– Клянусь богом, до дому, – говорит.

– Приказ…

– Я сам себе приказ.

– Ври толще?

– Верно говорю.

– Как так?

– Так.

– Да как же оно так?

– Этак, – смеется.

Оружие фронтовое на нем, ковровые чувалы и домашнее – под серебром – чернью травленное седло на горбу.

– Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных варенников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.

– Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью заплыло, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.

– Э-э, сядем да поедем… Все едут, все бегут… И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и – машинист, крути машину, станови на ход!

Вижу, правильно – ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.

Расступился в мыслях я – ехать или нет?.. Полчан маленько совестно – меня, как бытного, послали, а я убегу?.. И шпагат, признаться, жалко.

– Нет, Яша, не рука.

– Напрасно.

– Мало ли чего… У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.

– О том, кум, что было при царе Косаре, поминать нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово, – зря.

– Поклонись сторонушке родимой… Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов беремя. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строго-настрого, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.

Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:

– Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики…»

– Ты научишь в обруч прыгать…

– Говорю не шутя.

– Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.

– Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.

Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:

– Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..

– Брехня.

– Ой ли?

– Собака и на владыку лает.

– Что ж они такие за большевики?

– Партия – долой войну, мир без никаких контрибуций. Подходящая для нас партия.

– Так ли, кум?

– Свято дело сватово.

– Ты и сам большевик?

– Эге.

– Значит, домой?

– Прямой путь, легкий ветер.

Заныло сердце во мне…

Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы… Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти… С твердостью говорю:

– Нет, Яша, не рука. К Рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьянее, гостевать приду.

– Долга песня.

Ро́спили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:

– Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал… Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты… Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скучает, тягостные слезы льет… А ты – горе, кручина, чужая сторона – торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак… Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой… Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок – книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опамятоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.

– Хваты-браты.

– И я то же говорю.

– Ну и ну да луку мешок.

Порт кишел солдатами, солдат в порту как мошкары.

На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли – пристанские мостки под ними провисали, – всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.

С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев – шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие совдепы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.

Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.

Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:

– Расступись, вшивая команда, пропускай раненого.

Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папахой мне помахал:

– Прощай, Максим, ты все-таки подумай.

– Думала баба над корытом…

Рявкнул водоход, встряхнулся и поплыл – поплыл, как гусь белый.

Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.

А водоход

дальше
дальше
и чу-у-у-уть слышно:

Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны…

Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.

Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиятов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.

Пулеметчик Сабаров отбился от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.

Слушать нас сбежался весь полк.

Полчане стояли тесно – плечо в плечо и голова в голову.

Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:

– Фронтовики… Кровь родная… Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.

Над целым полком стою.

Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня… Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой… Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд – кого видали, чего слыхали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет…

Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил.

Кто кричит – правильно, кто – верно, а кто со злости только мычит.

Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый захудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.

Остап Дуда тоже остервенел: весь так и вызверился, подкатило человеку под само некуды… Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:

– Расея… Що це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии… Кончай войну! Бросай оружью!

Солдатская глотка – жерло пушечье.

Тыща глоток – тыща пушек.

Из каждой глотки – вой и рев:

– Окопались…

– Хаба-ба…

– Говори, еще говори.

– Измучены, истерзаны…

– Воюй, кому жить надоело.

– Триста семь лет терпели.

– Долой войну!

– Бросай оружье!

– Домой!

Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались матюки, потом тише
тише
и замолчали.

Оглянулся я.

Оглянулся Остап Дуда.

Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев – полковой наш командир… Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.

Полк боялся Половцева за крутой характер – боек его благородие был на руку – и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну, а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок брушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.

– Солдаты! – гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его. – Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?

А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.

Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волынку – слушать прискорбно – родина, пучина позора, всемирная борьба, харчимарчи, чофа хата и так далее…

Тяжело обвисли головушки солдатские…

Он свое говорит, мы свое думаем… Кто в ширинке скребет, кто – за пазухой.

Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальников кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую, и молодечество, другое в башку полезло…

Был у нас в роте, когда еще в тылу болтались, вятский парень Ваня Худоумов. Солдаты по дурости еще дразнили его: «Ваньке, спугни воробья-тё, сел на мачту, баржа-тё потонет», – растяпистый да охалистый парень, беда. И под ружьем с полной выкладкой в семьдесят два фунта часами выстаивал; на хлеб, на воду его сажали; гусиным шагом гоняли; бою вынес бессчетно, а все не мог постигнуть немудрую солдатскую науку и часто забывал, какая нога у него правая, какая левая. «Ать, два, три!.. Ногу дай!.. Маши руками!» – такая игрушка, бывало, с утра до ночи. Кружились роты по казарменному двору, ровно ошалелые. Пурга засаривала глаза, мороз руки крючил, но разбираться с этим не приходилось. Хуже всего, когда ротный – тогда Половцев еще ротным был – бывал не в духе. На ком ему, его высокоблагородию, как не на солдате, злость сорвать? Бей ты его, терзай ты его, рук не отведет. Подлетит ротный к строю и давай кулаком в зубы бодрить: «Голову выше! Брюхо убери! Гляди веселей!» В такой недобрый час подбежал хищный зверь к Ваньке, а тот, как плохой солдат, всегда на левом фланге болтался. «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. Вылетела у того зеленая сопля и хлестнулась ротному на чищеный сапог. Бац в другое ухо: «Пшел с глаз долой, черт паршивый!» А вятский глядит сквозь офицера и тихонько так улыбается, будто во сне веревки вьет. Потом он упал, кровь из ушей поползла, уложили его на шинельку и унесли в больницу военную. Там он оглох на оба уха, поскомлел-поскомлел и опустился, бедняга, в черную могилу…

Ваньку мне стало жалко, себя жалко, жалко всю нашу сиротскую мужичью жизнь… Родился – виноват, живешь – всех боишься, умрешь – опять виноват… Стою, дрожу, от злости меня аж вывертывает всего, а он, малина-командир, ухватил нас с Остапом за воротники и над повозкой приподнял.

– Вот, – кричит, – ваши депутаты… Головы им поотвертывать за подрыв дисциплины… Дурак дурака чище, а может быть, и немецкие шпионы.

Качнулись
посунулись
задышали едуче…
– Шпио-о-оны?
– Во-о-о…
– Ты, господин полковник, наших болячек не ковыряй… Плохие, да свои.
– Хищный гад, ему бы старый режим.
– Шпиёны, слышь?
– Дай ему, Кужель, бам-барарам по-лягушиному, впереверт его по-мартышиному, три кишки, погано очко!.. Дай ему, в нем золотой дух Николая Второго!..

Задохнулось сердце во мне.

С мясом содрал я с груди кресты свои, показал их полчанам и начальнику своему, навесившему на меня кресты мои:

– Это что?

Все кругом задрожало и застонало:

– Дай ему!
– Вдарь раза!

Я:

– Это что?

Молчал Половцев.

– Гляди хорошенько, командир ты наш, отец ты наш родной. Гляди, не мигай, а то я тебе эти полтинники вобью в зенки! – И на этих словах, не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам.

Половцев
падая
зацепился шпорой и опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали – подняли на кулаки и понесли…

Наболело, накипело…

– Дай хоть раз ударить! – всяк ревет.

Где ж там на всех хватить.

Раздергали мы командировы ребра, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирало, сердце в каждом ходило волной, и кулак просил удара…

Пошли ловить начальника хозяйственной части Зудиловича, прозванного солдатами за свой малый рост Два Аршина с Шапкой. Видит он, деваться некуда, и сам, уперев руки в боки, выходит из своей канцелярии на страшный суд-расправу. Уробел злец, ростом будто еще меньше стал, и глаза его, зеленые воры, так по сторонам и бегали…

С самой весны питался полк голой турецкой водой и прелой чечевицей. Раньше боялись кормить такой чечевицей лошадей, шерсть от нее вылазит, а теперь кормили людей. Навалимся на котелок артелью – не зевай, только ложки свищут да за ушами пищит. Мнешь-мнешь, мнешь-мнешь, ровно барабан раздуется брюхо, жрать все равно хочется, а жрать нечего. С тоски пойдет какой бедолага, на ходу распоясываясь, присядет в ямку под кустом и давай думать про политику: «Служил, мол, ты, дурак, серая порция, царям, служил королям, служишь маленьким королятам, а ни один черт не догадается досыта тебя накормить…» Кряхтит-кряхтит, так ничего и не выдумает. Воюй, верно, не горюй и жрать не спрашивай.

Стали мы пытать своего начальника, куда деваются несчастные крохи солдатские, кто хлебушком солдатским харчится, кто махорку солдатскую скуривает, кто попивает солдатский чаек внакладку.

– Я тут ни при чем, – как на шиле вертится Два Аршина с Шапкой, – доставка плохая, путь далекая.

– Сказывай, щучий сын, кто кровушку нашу хлебает, кто печенкой нашей закусывает?

– Опять же я не виноват, дивизионные воруют, а наряды посланы давно, не нынче завтра транспорт ждем.

– Отчего каша гнилая? Отчего в каше солома рубленая, горький камыш и всякая ерунда?

– Каша вполне хорошая.

– Гнилая.

– Хорошая.

– Гнилая! – кричим.

– Отличная каша, – твердит свое Зудилович.

Тогда принесли и поставили перед ним кукурузной каши бачок на шестерых. Дали большую ложку. Один шутник догадался, подмешал в кашу масла ружейного.

– Ешь.

Глядим, что будет.

– Ешь и пачкайся.

Припал наш начальник над котелком на корточки и принялся за кашу.

Все молчали над ним и каждую ложку в рот глазами провожали…

Ел он, ел, икнул и заплакал:

– Больше не могу, господа.

Мы его за усы.

– Кушай.

– Кушай, кормилец, досыта… Мы ее три года едим, не нахвалимся.

Распоясался он, давай опять есть. Фельдшер с писарем заспорили, лопнет Зудилович или нет.

– Согласно медицины должен лопнуть, – говорил фельдшер Бухтеяров: не только в нашем полку, но и далеко кругом славился он растравкой ран, по которым ухари получали краткосрочные и долгосрочные отпуска на родину.

– Нет, не лопнет, – успорял писарь Корольков и рассказал, как у них в штабе ординарец Севрюгин на спор зараз десять фунтов колбасы да каравай хлеба смял и не охнул, покатался по траве, и вся недолга.

– Ну, это ты, друг, врешь.

– Я?.. Вру?..

– Хотя бы и так, – говорит фельдшер, – то твой Севрюгин, а то образованный человек: в нем кишка тоньше, чуть ты ее понатужь, и готово.

Поспорили они на полтинник.

Давится Два Аршина с Шапкой, но жует, а у нас уже и сердце отошло, краснословим, ржем – зубов не покрываем:

– Скусно, поди, в охотку-то.

– С верхом черпай.

– Рой до дна.

– Отгребайся, дядя, ложкой-то, отгребайся, до берегу недалеко.

– Ложка у него титова…

Выел начальник кашу и ложку облизал.

– Хороша? – спрашиваем. – Еще не подложить ли?

– Не каша – разлука, – отвечает он, обливаясь слезами.

– Помни нашу науку.

– Каюсь, братцы.

Приняли его под руки и, обсыпая неприятными словами, на гауптвахту повели.

Заодно думали и каптера Дуню постращать, да не нашли, унюхал и скрылся.

Расходимся по землянкам.

– В частях кругом пошло блужденье, – говорит разведчик Василий Бровко, – пора войне поломаться.

– Пора, пора…

– Надысь, слышь, Самурский полк снялся с позиции и самовольно в тыл ушел.

– Астраханцы тоже поговаривали…

– К зиме, поди-ка, ни одной русской ноги тут не останется.

– Народ у нас недружный, у каждого глотка-то, как рукав пожарный, крику много, а делов на копейку… Держись мы дружнее, давно бы дома с бабами спали.

– Твоим бы, Кузя, задом из досок гвозди дергать…

– Разбежимся все, кто же будет фронт держать? – спросил кадровый солдат Зарубалов.

– Аллах с ним, с фронтом.

– А Расея?

– Это не нашего ума дело… У Расеи жалельщики найдутся, мало ли их по тылам прячется…

– Живут, твари, сполагоря.

– Жалко, Кавказ пропадет, сколько тут наших могилок пораскидано…

– Побитых не вернешь, а грузинцев с армянами жалеть нечего, пускай сами обороняются, коли им турки не милы.

– Чего тут сидеть, мертвых караулить…

– Выслать бы своих шпионов в Россию и узнать, кто там кричит: «Война без конца», – того бы за щетину да в окопы… Или половина остаемся и воюем один за двух, а половина с оружием идем по всему государству из края в край, колем и режем, стреляем и вешаем всех сверстников царизма и, разделив по совести землю и леса, фабрики и заводы, возвращаемся сюда на смену…

– Кабы ты, Миша, заместо Керенского в креслах сидел да приказы писал, вот бы мы наворочали делов…

Взводный Елисеев вспомнил Половцева и перекрестился:

– Хороший был командир, царство ему небесное, вечный покой…

– Все они, псы, хороши, – говорю, – не знать бы их никогда…

Мученый и маленький ефрейтор Точилкин боязливо оглянулся и сказал:

– Удохать мы его удохали, а не вышло бы тут, братцы, какого рикошета?

Когда убивали начальника, Точилкин в сторонку отбежал: крови видеть не мог после того, как однажды побывал в штыковой атаке.

– За ними гляди да гляди.

– Не поддадимся.

– Чего ждем, скажи на милость?.. Давно бы их всех на солдатский котел перевести…

– На котле далеко не уедешь, их благородиям надо на самый хвост наступить…

В комитетскую палатку прибежал язычник, прапорщик Онуфриенко, и доложил про потайное собрание офицерское: крепко-де они за Половцева обижены, надумывают, как бы казаков на полк напустить, а сами-де уговариваются по тылам разъехаться и бросить полк на произвол судьбы.

Солдат, он хитрый: там секреты и тут секреты, у них потайные разговоры, а у нас каждые сутки рота наготове.

– Какая нынче дежурная? – спрашиваю члена комитета Семена Капырзина.

– Двенадцатая дежурная, – отвечает Капырзин и, передернув затвор, посылает до места боевой патрон.

Всполошились:

– Не зевай, ребята.

– Чего зевать, каждую минуту жизня смертью грозит.

– Выходи, шуму лишнего не подавай.

Бежим во вторую линию укреплений, и я громко подаю команду:

– Двенадцатая, в ружье!

Вылетают из своих нор солдаты двенадцатой роты: кто одет, кто бос и без шапки, но все с винтовками.

Мы, комитетчики, вкратце объясняем, из-за чего поднята тревога, и рота, рассыпавшись цепью, скорым шагом направляется к лесу.

Окружаем блиндированную землянку офицерского собрания. Заходим в землянку втроем.

– Здравствуйте, господа офицеры! – смело говорю я и кладу руку в карман на бомбу.

– Здорово, шкурники! – отвечает батальонный второго батальона штабс-капитан Игнатьев и, встав из-за стола, идет прямо на нас: – Мерзавцы! Как вы смели войти без разрешения дежурного офицера?

И со всех сторон густо посыпались на нас обидные слова.

Вижу, Остап Дуда сменился в лице и на батальонного грудью:

– Нельзя ли выражаться полегче?.. Мы есть депутация… Пришли узнать, какой вы за пазухой камень держите?

– Что-о тако-о-ое? – орет Игнатьев, глаза выпуча. – Ах вы, каторжные лбы!

Не помню, как шагнул вперед и я.

– Знай край да не падай, ваше не перелезу! Довольно измываться над нашим братом! Довольно из нас жилы тянуть!

– За нас двенадцатая рота! – с провизгом закричал из-за меня и Капырзин. – За нас полк, за нас вся масса солдатской волны, казаками нас не застращаете, это вам не старый режим…

– Ма-а-а-алчать… Предатели… Родина… Измена! – Батальонный выхватил наган. – Я не могу… Я застрелюсь! – и поднял наган к виску.

– Валяй… Один пропадешь, а нас – множество – останется, – говорит Капырзин.

Раздумал. Опустил руку с наганом и говорит тихим голосом:

– Сукины дети вы.

Офицеры окружили его, отжали в угол и принялись успокаивать.

– Господа депутаты, – обратился тогда к нам молодой и чистый, как утюгом разглаженный, адъютант Ермолов, – господа, по-моему, тут недоразумение… Камня за пазухой мы не держим, и никаких особых секретов у нас нет… Просто, как родная семья, собрались чайку попить и побалагурить… Верьте слову, политикой мы никогда не интересовались… Мы не против и Временного правительства, не против и революции, но… – он оглянулся на своих, – ко…

– Мы не допустим, – выкрикнул Игнатьев, – чтоб какая-то сволочь грязнила честь полкового знамени, под которым когда-то сам Суворов водил наш полк в атаку на Измаил и Рымник. Наше знамя… – и пошел, и пошел про заслуги полка высказывать.

Насилу его уняли.

К нам опять подлез тот адъютантишка и зашептал:

– Вы на него не сердитесь, господа. Чудеснейшей души человек. Но… но… на язык не воздержан… Революция – это, знаете, такое…

– Мы и без вас, господин поручик, знаем, что такое революция, – говорит Капырзин. – Расскажите нам лучше, как вы солдата на фронте удерживаете, а сами сговариваетесь дезертировать?

– Ложь, чепуха, хреновина… Больше доверия своему непосредственному начальнику. Солдат ничего не должен слушать со стороны, от какого-нибудь проходимца-агитатора…

Все новости должен узнавать через начальника… И со всеми обидами идти к начальнику… Не с первого ли дня войны мы находимся вместе с вами на позиции?

– Вы не сидите, – говорит Остап Дуда, – не сидите в окопах по жопу в воде. Вы – сухие и чистые – на стульях спите…

– Не вместе ли мы честно служили и не должны ли мы на этих позициях честно и вместе умереть? За родину, за свободу, за…

– Нам, – говорю, – умирать не хочется. Слава богу, до революции дожили и умирать не желаем.

– Будя, поумирали, – ввязался и Капырзин. – Три года со смертью лбами пырялись, надоело… Нам чтоб без обману, без аннексий и контрибуций.

– Ба, большевицкие речи?

– Нам все равно, чьи речи. Нам ко дворам как бы поскорее, а вы, господа офицеры, нас вяжете по рукам и ногам. Три года…

– Три года! – опять выскочил из своего угла батальонный Игнатьев. – А я служу пятнад-цать лет… Нет ни семьи, ни дома… Все мое богатство – сменка белья да казенная шинель… Теперь вам то, вам се, а нам, старым командирам, шиш костью?.. Вам свобода, а нам самосуды?.. Хамы, сукины дети! Не радуйтесь и не веселитесь – дисциплина нового правительства будет еще тверже, и вы, мерзавцы, еще придете и поклонитесь нам в ноги!..

– Пойдем, – сунул меня локтем под бок Остап Дуда, – тут разговоров на всю ночь хватит, а там рота под дождем мокнет…

Повертываемся и выходим.

Рота обступила нас.

– Ну, чем вас там угощали, чем потчевали?

– Мы их испугались, – смеется Капырзин, – а они нас. Потявкали друг на друга, да и в стороны.

– Жалко, драки не вышло. Не мешало бы для острастки одному-другому благородию шкуру подпороть.

– Кусаться с ними так и так не миновать.

– Пока вы там гуторили, мы по лесу всю телефонную снасть пообрывали.

– Ну, ребята, держи ухо востро. Пулеметчикам находиться неотлучно на своих местах. К батарее выставить караул. На дороги выслать заставы. Всем быть готовыми на случай тревоги.

Утром полк был собран на митинг.

Долго судили-рядили. В конце концов было решено батальонного Игнатьева арестовать, а к казакам и в 132-й стрелковый срочно слать своих делегатов. Арестовать себя батальонный не позволил – застрелился, делегаты были посланы.

Не успели мы разойтись, скачет из штаба дивизии ординарец с распоряжением немедленно везти урну с солдатскими голосами в Тифлис, где квартировал общеармейский комитет Турецкого фронта.

– Максима Кужеля слать!

– Пимоненко!

– Трофимова!

Каждому из нас хотелось в тыл – вольную жизнь посмотреть, да и к дому поближе.

Артиллерист Палозеров сказал за всех:

– Нечего нам, братцы, горло драть без толку. Человек тут требуется надежный. Может, через них, через листки-то, какое освобождение выйдет. Благословись, пошлем-ка кого-нибудь из наших комитетчиков. Верней того ничего не выдумать.

Слову его вняли.

Перед целым полком тащили мы жеребья.

Один тащит – мимо, другой – мимо, третий – мимо.

Пало счастье на меня – вытащил пятак с зазубриной, – и заиграло во мне!

Сгреб я барахлишко, посовал всякую хурду-мурду в один мешок, голоса солдатские – в другой и сажусь на арбу.

– Прощевай, земляки.

– Счастливо.

– Возвертайся поскорее.

– Чего он тут забыл?.. Сдай, Кужель, голоса, отпиши нам про тыловые порядки и валяй на Кубань, а следом и мы прикатим.

Кто целоваться лезет, кто на дорогу мне табачку отсыпает, кто сует письмо на родину.

Разобрал ездовой вожжи, гаркнул, и подпряженные парой кони взяли.

С перевала оглянулся я последний раз…

Далеко внизу чернели окопы, виднелись землянки, пулеметные гнезда, батарея в лесочке, и вся широкая долина была насыпана солдатами, как горсть махоркой.

– Прощай, лешая сторонка.

Три года не плакал – все молился да матерился, – а тут прорвало…

Пожар горит-разгорается

В России революция,
вся Россия на
ножах.

Горы, леса, битые дороги…

По хоженым дорогам, по козьим тропам несло солдат, будто мусор весенними ручьями.

Солдаты тучами облегали станции и полустанки. По ночам до неба взлетало зарево костров. Все рвались на посадку, посадки не было.

Поезда катили на север, гремя песнями, уханьем, свистом…

Дребезжащие теплушки были насыпаны людями под завязку, как мешки зерном.

– Земляки, посади!

– Некуда.

– Надо ехать али нет?.. Две недели ждем.

– Езжайте, мы вас не держим.

– Как-нибудь…

– Полно.

– Товарищи!

– Полно.

– Туркестанского полка…

– Куда прешь?.. Афоня, сунь ему горячую головешку в бороду.

– Депутат, голоса везу! – охрипло кричал Максим и, как икону, поднимал перед собой урну с солдатскими голосами.

Его никто не слушал.

Стоны, вопли, крики…

В клубах дыма и пыли летели поезда.

Обгоняя колеса, катились тысячи сердец и стукотук-тук-тукотали:

…до-мой…

…до-мой…

…до-мой…

Максим вывязал из мешка последнюю краюху черного и тяжелого, как земля, хлеба и принялся махать краюхой перед бегущими мимо вагонами:

– Е! Ей!

Рябой казачина на лету подхватил краюху, Максимовы мешки и самого Максима через окно в вагон втащил.

– Поехали с орехами!

– Тесновато, но ехать можно.

– Закрой дверь, холодно, – рычит один из-под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена давно, окна в вагонах побиты.

– Терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.

Лобастый, свеся с верхней полки стриженную ступеньками голову и поблескивая озорными глазами, с захлебом рассказывал сказку про Распутина:

– …Заходит Гришка к царице в блудуар, снимает плисовы штаны и давай дрова рубить!

Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья – кто был, тот знает.

– Это что! – лезет из-под лавки тот, который рычал: «Закрой дверь, холодно». – Вот я вам расскажу сказку, так это сказка…

Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата: сколько им было простаков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено…

В том же вагоне ехал избитый в один синяк и ограбленный солдатами старый полковник. Босые, опутанные бечевками ноги его болтались в заляпанных грязью валяных обрезках; плечи прикрывал драный, казенного образца, полушубок. В измятый медный котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Из-под фуражки в красном околыше выбивались пряди седых свалявшихся волос. Спал он, как и все, стоя или сидя на полу – лечь было негде. Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают…

– Лезь, – кричат, – в окошко, как мы лазим.

Максиму жалко стало старика, подвинулся немного и пригласил его присесть на лавку.

– На добром слове спасибо, братец. Недостоин я, это самое, с солдатиками в ряд сидеть… За выслугу лет, это самое, вчистую вышел… – И не сел, а у самого дробные слезы так и катятся по щетинистой щеке.

Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в старика:

– Глот. Давно подыхать пора, чужой век живешь.

– Вишь, морду-то растворожили…

– Может быть, из озорства ему накидали?

– Зря бить не будут, бьют за дело.

– Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду… Мы походили пешком, пускай они походят.

– Брось, ребята, – вступился Максим, – чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает… Всем ехать охота.

– Правильно, – поддержал лобастый сказочник с верхней полки, – перед кем он провинился, тот ему и наклал, а наше дело сторона… Из них тоже которые до нашего брата понятие имели…

Ехал тот полковник к дочери в станицу Цимлянскую, на тихий Дон. До самого Тифлиса Максим подкармливал его и на прощанье чулки шерстяные подарил:

– На, носи.

На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли.

С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало – ехали на стойка́х, верхом на паровозе. Под составами визжали немазаные колеса, прогибались рельсы.

– Садись на буфер, держись за блин!

Под Тифлисом затор.

Разъезд забит эшелонами.

Голодные солдаты уже по двое, по трое суток сидели по вагонам и матюшили буржуазию, революцию, контрреволюцию и весь белый свет; иные – с вещевыми мешками, узлами, сундучками – отхватывали по шпалам, держа направление к городу; однако большинство из этих торопыг, напуганные чудовищными слухами, с дороги возвращались, сбивались у головного эшелона в кучки, митинговали.

В каждой кучке свой говорух, и каждый говорух, закусив удила, нес и нес, чего на ум взбредет. Один уговаривал слать к грузинскому правительству мирную делегацию; другой советовал сперва обстрелять город ураганным артиллерийским огнем и уже тогда посылать делегацию; а изрядно подвыпивший казачий вахмистр, навивая на кулак пышный, будто лисий хвост, ус свой, утробным басом гукал:

– Солдатики-братики, послухайте меня, старого да бывалого… Ни яких делегаций не треба… Нечего нам с тими азиятцами устраивать сучью свадьбу… Хай на них трясца нападет!.. Хай оны вси передохнут!.. Пропустите меня с казаками вперед! Як огненной мет-

лой прочищу дорогу и к чертовому батьке повырублю всих новых правителей, начиная с Тифлиса и кончая станицей Кагальницкой, откуда я сам родом… Так-то, солдатики-братики… – Приметив на лицах некоторых слушателей лукавые улыбки, кои показались ему оскорбительными, вахмистр насупился, откинул на плечо ус и, хватив себя кулаком в грудь так, что кресты и медали перезвякнули, заговорил с еще большим жаром: – Вы, скалозубы, що тамо щеритесь, як тот попов пес на горячую похлебку? Цыц, бисовы души! Я вам ни який-нибудь брехунец-вертихвост… Я в шестом году, находясь на действительной службе, сам партийным был. Командир наш, хорунжий Тарануха, добрый был казак, царство небесное, за один присест целого барана съедал, – выстроил нашу сотню на плацу и говорит: «Станишники, лихое настало время на Руси, скрозь жиды и студенты бунтуют… Скоро и наш полк погонят в ту проклятую Одессу на усмирение… Помня присягу и нашу православную веру, должны мы всей сотней записаться в партию, чи союз Михаила-архангела». – «Рады стараться, отвечаем, нам все едино…» – И, похоже, долго бы еще ораторствовал речистый вахмистр, но вот через толпу протискались два казака и, сказав с укором: «Будет вам, Семен Никитович, всю дурь-то сразу выказывать, приберегите что-нибудь и на завтра», подцепили его под руки и увели в свой эшелон.

На обсохшем пригорке играли в орлянку, высоко запуская насветленные медные пятаки. Двое затеяли русско-французскую борьбу, собрав вокруг себя множество зрителей, из которых чуть ли не каждый подавал свой совет тому или иному из борющихся. Несколько человек сидели и полулежали в вольных позах вокруг раскинутой шинели и резались в очко. Уже побывавший и в Тифлисе, и в Баку старшой какой-то конвойной команды – лихого вида фельдфебелек – метал банк и бойко рассказывал:

– Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле… Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну – разлюли малина!

– Какой они партии? За что борются? – отрывисто спросил рыжий, страшной худобы солдат.

– Кто? Грузинцы?.. Партий всяких у них, брат, развелось больше, чем блох в собаке. И все друг друга опровергают, и все друг друга не признают, и кто у них за что борется, кто прав, кто виноват – сам архирей не разберет… Видал я одного ихнего министра в городском саду на митинге – ну, ничего, одет чисто, при часах и с тросточкой. Речь его я понять не мог, говорил он не по-русски, а по-своему. Газеты тифлисские читал, тоже доподлинно не вызнал, что к чему, а так, на базаре, от одного прапорщика слыхал: «Грузия-де к меньшевикам приклоняется, всю власть им перепоручила, а меньшевики-де раньше были у большевиков в подчинении, как апостолы у Христа; а ныне будто бы те апостолы рассвирепели, не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут… Тюрьмы тифлисские набиты внабой».

– Азият, он азият и есть, – вздохнул один из игроков, – ему кровь заместо лимонаду.

– Шустры они, бойки, – продолжал фельдфебель повествовать о меньшевиках, – но, как зайцы, всех боятся: рабочих боятся, солдат боятся, генералов русских боятся, турок боятся, а пуще всего большевиков боятся…

– Этим правителям хрен цена. Эти правители временны, до первого морозу, – опять сказал рыжий солдат своим глухим, замогильным голосом, выбирая рублевку из зажатой в кулак пучаги мятых денег. – Дай карту. Дай еще, – с трепетом, ме-е-дленно он поднял последнюю карту и, точно обжегшись, отдернул руку. – Перебор. Служил у нас в Кимрах, годов сорок кряду служил становой пристав Мамаев. Вот это был правитель! Трезвый по деревне скачет, и то ни один пес – на что тварь беспонятная – на него гавкнуть не смел. Ну а как напьется, никто на глаза не попадайся, разорвет! Мужики заслышат бубенцы – Мамай скачет, – врассыпную: кто под избу забьется, кто на гумнах в солому зароется, кто куда.

У него уж, бывало, пока обедня не отойдет или вечерня не кончится, пьяным на улицу не покажешься и в гармошку не сыграешь… Форменный был разбойник, трава перед ним от страху вяла, да и то, еще месяца за три до революции, попал мужикам на вилы. А сколько их, таких Мамаев, было у царя? Где они? Всех варом, как тараканов, поварило. Ныне народ отчаялся и облютел, никакого правителя к себе на шею не допустит.

Некоторое время все молчали, с интересом следя за ходом игры, потом разговор возобновился.

– И хорошо в гостях, а надоело, – задумчиво сказал наблюдавший за игрою со стороны Максим. – Добры люди, поди-ка, плуг и борону ладят, а мы как неприкаянные бродим и бродим по чужой стороне. Не горько ль?

– Не понимаю, какого дьявола тут сидим! – воскликнул уже неоднократно пытавшийся ввязаться в разговор мальчишка с нашивками вольноопределяющегося и с новеньким Георгием на груди; на свой знак отличия юный герой то и дело озабоченно посматривал, точно желая убедиться: не потерял ли? – Немцев били, турок били, а этих каналий в два счета расщепать можно. По-моему, если развернуть как следует боевой полк, обеспечить фланги достаточным количеством пулеметов, придать каждой роте…

Грянувший хохот старых солдат так смутил мальца, что он поперхнулся собственным словом, закашлялся до слез и умолк.

– Прыткий! – подмигнул фельдфебель. – Сунься, они тебе покажут, почем сотня гребешков.

– А что?

– А то. Ты еще мал, круп не драл. – Банкомет с значительным видом поиграл косматой бровью и, снова раскинув донельзя затрепанные карты, продолжал повествовать: – Под национальные знамена грузинцы собирают свою армию, армяне – свою, татары – свою. В оружии у них, дело известное, недохваток. И вот меньшевицкие правители выкатили в Гянжинский район свой бронепоезд на разоружение эшелонов. Разоружить они мало кого разоружили, но на станции Шамхор – врасплох – посекли из пулеметов много нашего брата. Мать честная, что там делалось! Раненых, как саранчи, побитых два дня на кладбище возили. На грех, какой-то лазарет с тяжелыми эвакуировался, так эти бедолаги сгорели все до единого в своих вагонах. Ну, дело известное, солдаты остервенели. Поймают где грузинца, татара или армяна, тут ему и шаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой за шею и на телеграфный столб вздернут, на ноги еще камней понавешают – мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера, я тому сам свидетель, к забору штыками пришили, другого в нефтяном баке утопили…

Наслушался Максим тех речей – голова кругом пошла. С тяжелым сердцем он вернулся в свой наполовину опустевший вагон и завалился спать.

Разбудил его топот многих ног, дурные крики, в залепленные сном глаза ударил резкий свет замелькавших за окном вагона колючих электрических фонарей – эшелон, мотаясь на стрелках и позвякивая буферами, подходил к Тифлису. Перемигнули сигнальные огни, проплыли какие-то постройки и тополя, уходящие темными вершинами своими под самое звездное небо. Эшелон, миновав вокзал, покатил куда-то в темень, на запасные пути. Солдаты прыгали из вагона на ходу. Прихватив свои мешки, спрыгнул и Максим.

В вокзале он разыскал этапного коменданта в погонах подполковника, который сидел в кабинете один и, точно в бреду, наборматывал что-то сам себе.

– Тебе чего? Какого полка? Почему без пояса? – вперил он в Максима блуждающие безумные глаза кокаиниста.

Максим подал дорожный аттестат и мандат. Тот мельком просмотрел бумаги и швырнул их делегату:

– Нет у меня хлеба, нет махорки, нет сахару, убирайся к черту!.. – На короткую минутку он умолк и потом снова залопотал, забормотал, с ужасом глядя куда-то мимо Максима в угол: – Законность, порядок, идеалы, все проваливается в пропасть, все летит в тартарары… Ах, Ниночка, Ниночка, как ты меня огорчила, как огорчила!.. Тебе чего, солдат? Какого полка? Что за дурак у вас командир? Почему не по форме одет? Ах да… Так вот, голубчик, общеармейский комитет Турецкого фронта переведен в Екатеринодар. Туда и езжай со своими голосами, хотя это и бесполезно… Эти мерзавцы уже разогнали Учредительное собрание, разгромили колыбель России – Московский Кремль. Все пропало, страна гибнет, гибнет культура… Ты, скот, того понять не можешь… Кубанец? Рад небось, каналья? Сейчас отправляю с пятого пути эшелон. Получай пачку папирос и езжай к чертовой матери. Все рушится… Господи… Вековые устои… Горе, горе россиянам… *Гайда да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом,* – пропел он и, закрыв лицо руками, зарыдал.

«Нализался», – подумал Максим и вышел.

На станции не было ни питательного пункта, ни хлебных лавок. Голодные, рыча и стеная, бродили солдаты. Весь привокзальный район был оцеплен полком грузинской народной армии: в город фронтовиков не пускали – погромов боялись – и пачками толкали дальше, на Баку. Составы то и дело – один за одним, один за одним – уходили на восток.

– Эх, – тяжко выдохнул какой-то ефрейтор, стоя в распахнутых дверях теплушки и грозя винтовкой уплывающему из глаз городу, откуда, несмотря на раннее утро, все еще доносились всхлипывания оркестров, – на фронт провожали с цветами, а встречаете лопухами? Куска хлеба жалко?.. Ну, погоди, кацо, не попадешься ли где в тесном месте?

– Не серчай, земляк, печенка лопнет, – хлопнул его Максим по плечу. – Меньшевиков узнали, хороша партия, дай ей бог здоровья. Дальше поедем, может статься, еще чище узнаем.

– Да уж больно обидно… В газетах пишут: «Равенство, братство», а сами норовят хватить тебя под самый дых и хлеба не дают ни крошки.

– Ладно, – опять сказал Максим, – и нам какой кудрявый под лапу попадется, пускай пощады не просит.

– Спуску не дадим.

– Главное, ребята, с винтовкой не расставайся, – отозвался еще один из-под нар. – До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна.

За Тифлисом началась война.

Горцы большими и малыми отрядами нападали на эшелоны, – под счастье – грабили их и спускали под откосы.

На путях голодали люди, дохли лошади.

Поезда тянулись сплошной лентой, в затылок друг за дружкой. По ночам на поездах ни огня, ни голосу. Выставив дозоры и заставы, отстаивались в полной боевой готовности. Ехали одиночками, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, сметая с пути банды, двигались отдельные части 4-го и 5-го стрелковых корпусов.

Акстафа, Гянджа, Евлах – на каждой станции перестрелка, суматоха, тарарам. Горела станция Елисаветполь, горела Кюракчайская керосинопроводная станция. По всей линии горели мелкие станции. Железнодорожные служащие, путевая стража и ремонтные рабочие с семьями, скарбом бежали в сторону Баку. Горели покинутые дома, будки и рабочие казармы. Горели татарские аулы и села русских сектантов. На подступах к горной Армении гремели пушки. На рубежах Грузии, Дагестана и Азербайджана гремели пушки. Воплями, стоном и дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.

Булга.

Все подъездные пути по самые выходные стрелки были уже забиты поездами, а со стороны Тифлиса накатывались все новые и новые, и уже некуда им было становиться; они останавливались за семафором, в чистом поле, откуда к станции гуськом тянулись делегаты, крупно разговаривая:

– Кто нас держит?

– Из паровозов, слышь, весь дух вышел – не берут.

– Всех белогорликов убивать надо.

Вокруг станции и на путях, прямо по земле и по дикому камню были разметаны ноги в разбитых сапогах, лаптях, отопках, истрескавшиеся от грязи руки, лохмотья, крашеные ободранные сундучки, мешки, на мешках и сундучках всклокоченные головы, лица, истомленные, мученые, и рожи, запухшие то ли от длительной бессонницы, то ли с большого пересыпу.

Совсем недалеко, в горах, регулярный казачий полк дрался с татарами, кои то отступали на линию своих аулов, то сами – с гиком, визгом – кидались в атаку, стремясь прорваться за перевал, на соединение с другим отрядом. Эхо ружейных залпов перекатывалось в горах. Тишину нежного утра громили пушки. По хорошо слышным разрывам фронтовики определяли калибр:

– Трехдюймовка…

– Тоже…

– Чу, горняшка… Должно, ихняя.

– У них орудиев нет.

– А ты алхитектор? Проверял, чего у них есть, чего нет?

– Ого, жаба квакнула. (Бомбомет.)

– Да, эта по затылку щелкнет, пожалуй, на ногах не устоишь.

За семафором шальной снаряд

ззз бум!

разбрызгал грязь и панику.

Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и – наутек.

– Бьют, курвы!

– Обошли!

– Ссыпайся!

– Ганька, канай! Ганька, где мой мешок?

– Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут.

– Как же, по головке погладят.

– Ух, батюшки, задохнулся… Этак, не доживя сроку, умрешь.

– Делегацию бы послать на братанье, как на фронте. Так и так, мол, товарищи…

– Сымай штаны, ложись спать… Они те набратают, вольного света невзвидишь. Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.

В дверях разграбленного складочного сарая, на новеньких рогожках, рядком лежали прикрытые шинелями два зарезанных пехотинца Гунибского полка. Из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги – пятки вместе, носки врозь. Вчера оба были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нынче их нашли в канаве под насыпью. Вот подошли несколько гунибчан, – один с высветленной лопатой на плече, – перекинулись коротким словом и прямо на рогожках потащили резаных в недалекую ложбинку, где земля была мягче. Там они наскоро закопают обоих в одну яму, потом разбредутся по вагонам и укатят. Будут лить дожди, шуметь травы, гореть тихие зори, но уже никогда ни одна близкая душа не придет поплакать, постонать на затерянную в степи солдатскую могилу…

Под ветром плескались костры.

Жарко пылали смоляные плахи шпал, расколки каких-то досок, хорошо горела и вагонная обшивка, закипая по ребрам краской. К огню со всех сторон лепились котелки, в котелках пучилась мамалыга и кукуруза.

Чернобородый большой солдат вытащил из мешка пеструю курицу, которая ни разу и кудахнуть не успела, как он – хрупнув – откусил ей голову и, прислушиваясь к редким орудийным выстрелам, вздохнул:

– Палят и палят… Господи, твоя воля… И чего проклятым дома не сидится? И чего псам гололобым надо?

– Это нам, землячок, война надоела, а им в охотку.

Пыл лизал наколотую на сизый штык курицу. Обглоданный болезнью паренек зябко кутался в шинель, глубоко засовывая рукав в рукав, мигал воспаленными загноившимися глазами и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черным:

– Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо… А курочка-то пригорает.

– Не бойся, не пригорит… Бежать…

– Бежать, бежать, Сила Нуфрич, тут хорошего не жди… А курочка-то того, ты поглядывай.

– Будь татары одни, – сказал закутанный в смрадное рубище ополченец, – мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота!

– Да што ты?

– Верно слово.

– Как же оно так?

– А вот как… Вчера за Курой поймали наши разведчики двух азиятов и с ними офицеришку русского. Ладно. Привели на станцию. Тут и давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. Ладно. С татарина много не спросишь, – бэльмэ, бэльмэ – рукавами себя по ляжкам хлыщут, языками чмокают: «Была барашка мыного, была лошадка мыного, была маладой жена мыного. Война пришел – барашка ушел. Свобода пришел – лошадка ушел. Бальшавой пришел, кричит: «Буржу, буржу!» – последки отбирал, с жена чадра снимал. Барашка ёк, лошадка ёк, ёканда маладой жена. Ай-яй-яй, урус, сапсем палхой порядка пошел!» Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, ну а к офицеру подступили покруче. Ладно. «Какой партии?» – спрашиваем его. Отвечает: «Беспартийный». – «Врешь, так твою и этак, – говорит один из комитетских, – беспартийные, как тараканы, должны на печке сидеть, а не между татарами шиться». Ладно. Спросили его, какой он части, давно ли с позиции. Молчит. Еще чего-то спросили. Молчит. Тогда комитетский развертывается и бяк его благородие по рылу, бяк еще, он и заговорил: Расея, союзники, то да се, хотим, мол, приостановить ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на фронт.

– Чисто.

– Черепки у них варят… Там били нас и тут бьют, там путали и тут путают.

Курица была готова. Чернобородый отломил горелое крылышко, лизнул было его сам, но обжегся и бросил парню:

– На-ка, Федюнька, займись от скуки.

Тут же рядом, за каменной оградой, на камышовом снопе толстая армянка отпускала и пешему, и конному.

В вокзальном садике три толпы. В одной – играли в орлянку, в другой – убивали начальника станции и в третьей, самой большой, толпе китайчонок показывал фокусы:

– Шинд'ла, минд'ла… О, мотлия, шалика лука ложия… Ас! Дуа! П'хо! Пой'егла!.. Куа шалика пой'егла? Ни сная, спласи ната. – Перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пошептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал: – Аа, сная, куа шалика пой'егла! Маа бох доблы!

Говор восхищенных зрителей:

– Ах, бес… Ну и бес.

– Заноза мальчонок.

– Да-а… Наш русский давно бы в куски пошел, а этот – уйди вырвусь!

Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили, будто еще дышит.

По перрону похаживала веселая компания подвыпивших терцев: балагурили, ржали, от души потешаясь над своими же проказами. Один, самый молодой и дурной, отвернув голову на сторону до отказу и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал несусветную похабщину; другой не раз пробовал затянуть терскую песню, да все голос срывался; еще двое состязались, кто выше плюнет, – они уже захаркали весь фасад вокзала, но спор все еще не был решен. Проходил по перрону и денщик командира сотни, Фока, на вид будто и придурковатый малый, однако плут великий и пройда, каких свет не видывал. Он шел, и все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить сметаны, полнехонькое блюдо которой он нес в вытянутых руках. Гуляки окружили его и засыпали вопросами: «Куда ходил? Где молока надоил? Э, да это сметана! – воскликнул один из них, макнув в блюдо палец и обсосав его. – Ах, скусно… Почем брал? Расскажи, Фока, как ты в Эривани татарку в бане мылил?» И еще один макнул в сметану уже не палец, а всю пятерню, а тот, у которого в песне глотку перехватывало, бросил в сметану окурок, что вызвало у всей компании бешеный хохот. Фока поставил блюдо себе под ноги и, прикрыв его полою шинели, взмолился:

– Станишники…

Но станичники наседали. Один уже нахлобучил ему шапку на нос, другой тянул из-под него блюдо со сметаною, а тот, что играл на пустом котелке ложкою, тормошил:

– Фока, Фока, а ну-ка соври что-нибудь не думаючи…

– Некогда мне с тобой, дураком, и язык чесать. Провались! – зарычал рассвирепевший Фока. – Вам все смешки да хахоньки, а там харч, там… эх, чего с вами и говорить.

– Где харч? Какой харч? – спросили в голос оба спорщика, бороды коих были заплеваны.

Фока воровато метнул глазом туда-сюда и зашептал:

– Крой, ребята, бога нет… В телеграфе, вон крайняя дверь с гирькой, сейчас начнут трофейную обмундировку раздавать… Полторы тысячи комплектов, сам видал… В случае… ежели… и мою очередь займите…

Станичники переглянулись, перемигнулись и, оставив в покое Фоку с его сметаною, хлынули к двери, за которой действительно было заметно какое-то оживление.

В телеграфе фронтовики штурмовали телеграфиста, требуя от него паровоза, а сзади в дверь напирали терцы, кубанцы и так, праздношатающиеся, тоже уже прослышавшие каким-то макаром про трофейную обмундировку.

– Братцы… Тут раздают?

– Становись в затылок.

– Мундировка?

– Ну? Семка, нашенских покличь!

– Легче напирай.

– Где мундировку дают?

– В очередь, в очередь! Все равны!

– Куды, черт, лезешь?

– Не больно чертя́, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками… Я, брат, такой… Не погляжу и на лычки твои.

– Что тебе мои лычки, поперек горла встали?

– Положил я на них.

– Тише, тише…

– Мундировка?

– Не-е-е, – разочарованно тянет тот, у которого в песне голос осекался, – тут насчет паровозов…

Очередь, вставшая за обмундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.

– Ну и пес наш Фока, – отирая шапкой пот с лица, восхищенно сказал один из терцев. – Теперь уж, поди-ка, и Якова Лукича варениками удовольствовал, и сам около него сметанки полизал. Вот тебе и «соври-ка что-нибудь не думаючи».

Прижатый к стене телеграфист бормотал точно спьяну или спросонья какие-то жалкие слова… Перед его расплавленными от ужаса глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие обезумевшие лица и широко распяленные орущие рты… Лапа вожака уже тянулась к горлу телеграфиста:

– Сказывай, сказывай останный раз, будут паровозы ай нет?

– С мясом выдерем!

– Нам так и так ехать.

– Хомут на белу душу!

Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея, дрожали побелевшие губы.

– Товарищи… Милые… Господи… Я сам за новый режим… Даже боролся, имею соответствующие документы… Паровозы не от меня зависят.

Ударили голоса:

– Каля-каля, пополам да на́двое!

– Глаза нам не отводи!

– Вынь да выложь паровозы!

– Смерти али живота?

– Должон ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?

– Празднички, гуляночки?

– Все буржуям продались!

– Пятый день вторую версту едем… Шутки плохие.

– Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы предоставит…

– Братцы… Даю честное благородное…

Злобой коптил солдатский глаз. Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с его форменной тужурки.

– Говори, не дашь паровозов?

– Братцы…

– Бей, сучья жила, телеграмму в Баку!.. Вызывай по аппарату Мурзе паровозы из Баки.

Будь на месте телеграфиста терец Фока, с величайшей готовностью кинулся бы он к аппарату *Мурзе,* и, несмотря на то что по линии все провода были давно уже порваны, изо всех сил принялся бы он трясти тот аппарат и повертывать его во все стороны; потом, сообразив, бросился бы он к давно не действующему телефону и – надувая щеки, свирепо тараща глаза – принялся бы он ругать бакинских начальников самыми последними словами и требовать, чтоб немедленно были высланы в его распоряжение сорок тысяч паровозов. Обнадеженные фронтовики угостили бы его махоркой, пожаловались бы на свою горькую судьбину и разошлись бы тихо, мирно. А там авось как-нибудь и разогнало бы тучу… Но простодушный телеграфист не горазд был на выдумки и на требование «бить телеграмму в Баку» только руками развел, что в воспаленном сознании солдат преломилось как нежелание расстараться и уважить.

– Лукин! – надорванный и полный отчаянья голос. – Лукин, чепыхни его!

– Эх! – плюнул Лукин в кулак. – Патриёт, война до победы! – И чепыхнул: телеграфист затылком о стену, уклеенную плакатами «Заем свободы».

В этот миг
грохнул
взрыв
брызнуло стекло
стены вокзала дрогнули.

Отхлынув от телеграфиста, бросились вон. Сперва никто ничего не мог понять. Перрон был окутан дымом, в дыму – стоны, тревожные выкрики и четкая команда:

– Тре-тья со-тня, в цепь!

– Санитара сюда…

– Эскадро-о-он, по ко-о-ням!

– Кирюха, где наши?

Мало-помалу дым развеялся.

По перрону там и сям лежали ничком и навзничь, ползали и стонали раненые, контуженые. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько теплушек было сорвано с рельсов.

Низенький, коренастый артиллерист Карской крепостной артиллерии стоял, прислонясь к осмоленному взрывом фонарному столбу, размазывал кровь по круглым щекам и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, бормотал:

– Да как же оно так?.. Да боже ж ты мой… Да это ж его, бедолаги, сивая шапка… – Затем, придя немного в себя, артиллерист уже более связно рассказал окружившим его солдатам: – Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос… За салом мы с ним в поселок ходили, сала ни шматка не нашли… Ну, ро́спили вина баклажку… Идем назад, тихо так и смирно о домашности разговариваем, а у Паньча на горбу, надо вам знать, полный мешок бомб и динамиту – на родину, бедолага, вез, буржуев глушить… Сала мы не сыскали, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не сыскали… Пока шли, роспили еще одну баклажку, но захмелели не дюже, а так – вполпьяна. Доходим до станции, степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим – что за диво! – вагона нашего нет. Искали, искали, нету вагона. «Это насмешка над нами, – говорит Паньчо, – тут стоял вагон, и нету вагона». – «Это, – говорю и я, – дюже обидно. Пойдем-ка до дежурного по станции, поговорим с ним тихо, благородно». Только мы с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали расспрашивать, как бы нам к дежурному пройти, откуда ни возьмись чумаха-парень. «Кой, кричит, черт на дороге встали?» – и ударь, стервец, моего друга чайником по горбу: Паньчо, известно, зашипел и взорвался… Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой добро был, боже ж ты мой… Как, бывало, выйдем с ним на улицу, в своем то есть селе, как в две гармони рванем-рванем… Ууу…

Ахали, матюшились, из рук в руки переходила окровавленная, с прилипшими клочьями рыжих волос, казенного образца шапка-вязёнка.

Пальба в горах стихла.

Под песню и бренчанье походного бубна вернулись из боя казаки. Собачьи малахаи и курдские папахи, заветренные суровые лица, крепкие зубы и еще горящие тревогой и боевым задором глаза.

Со набега удалого
Едут казаки домой,
Гей, гей да люли,
Едут казаки домой…

Они привели с собой легких, как зори, татарских коней, – пленных дорогой порубили, – громовым «ура» солдаты встретили казаков.

Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными скрепами, покатили на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.

В Баладжарах затор.

Кобылки скопилось сто тысяч – сбор Богородицы, разных губерний и частей, – ехать не на чем, ехать боялись, но ехать все-таки надо.

По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали и так валялись казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли одни уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, погибли в походах. У костров обсушивались и дремали солдаты экспедиционного корпуса генерала Баратова. За три долгих горьких года они выходили все дороги и волчьи тропы от Кавказа до мосулдиальских позиций и обратно. Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные десны их сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедали шкуру томленую… Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!.. Стлался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то бамбуковые костыли раненого, то одичавшие, точно врезанные в голодное лицо, глаза.

В эшелонах смеялись и плакали гармони, пылали песни. Между путями отхватывали русского и гопака, в почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестели глаза; топотом, гиком и хлопаньем жестких ладоней заглушали в себе тоску, голод, страх и отчаяние…

На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Баладжарах было холодно, голодно и неприютно. Толпами валили в город, но и там хлеба не было.

С моря перекатом шел воевой ветер и черным стоном штурмовал горы.

Из города – днем и ночью, на извозчиках, в автомобилях – приезжали агитаторы разных партий.

Солдаты все слушали с интересом, но в потоках ораторского красноречия и ругани они с бóльшей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России вовсю идет борьба из-за власти двух течений – большевики и буржуазия, по Кавказу горцы кричат: «Долой гяуров», в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия – все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан предается исламу и Турции…

Паровозы рявкнули, солдаты, не дослушав длинной резолюции о поддержке большевиков, с криками: «Правильно! Правильно! Долой войну!» – стали разбегаться.

Поезда выматывались на простор.

Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали вполглаза. Чуть тревога – начинали звонки звонить, ружья палить, гудки гудеть. Отбивали нападение и катили дальше.

Стучали колеса
сыпались
станции
лица
дни
ночи…

Войска имели разгульный вид, везде народ, как пьяный, шумел.

– Якого полка?

– Пятнадцатого Стрелкового. А вы?

– Второго Запорожского.

– Ко дворам?

– Эге.

– Какой станицы?

– Платнировской.

– А мы, дядечку, расейские, Курской губернии, Грайворонского уезда… Буржуев едем крушить.

– Давай бог.

Слева торчали горы дагестанские, а справа – отвалом – голубыми вихрями пылал Каспий-батюшка…

На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожухах, они бегали перед вагонами и на разные голоса причитали:

– Служивые, оборони… Родимые, защити.

– Что такое?

– Чечены нас забижают… Грабежи, убойство…

Собрали митинг и постановили – подать помощь от нападов чеченов. Дело было ночью. По направлению к горам постреляли из пушек, не сгружая их с платформ. Набрался отряд охотников, набросились на ближайший аул. Аул горит, трещит, искры сыплются, бабы и ребятишки воют, чечен стреляет до последнего.

Наменяли у мужиков хлеба на оружие и поехали дальше.

Чугунное тулово печки было раскалено докрасна. По закопченным стенкам теплушки полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя, стоя – кто как сумел примениться к своему месту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки, дремал на верхних нарах. Под дробный говор колес видел он себя на молотьбе: пожирая снопы, ровным стуком стучит молотилка; зерно, шипя, течет в уемистые мешки; в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп, плывет Марфа; пышет солнышко, жилы в Максиме стонут, нутро дрожит…

Под утро Кавказ выпустил эшелон из своих каменных объятий, горы начали отставать, впереди снежной пеной закипела степь моздокская…

Ду-ду

уу

у

ууу…

– Вырвались с проклятья – Расея!

Стремительны и яростны мчались дни.

Пыль… Дым… Гром…

Чем дальше от фронта, тем солдат шел все озорнее. На разгромленных станциях сами грели кипяток, сами били звонки, давая самое скорое отправление всем поездам и на все стороны – катай!

На перегоне Хасав-Юрт – Моздок – Грозный путь во многих местах был разобран. На обе стороны от насыпи – торчмя, на боку, вверх колесами и всяко – валялись искалеченные, как детские игрушки, паровозы, цистерны, вагоны. По следам ремонтных летучек и саперных команд, восстанавливающих дорогу, крались, подобны шакалам, банды мародеров и снова сдирали рельсы, раскидывали шпалы. Поезда то вдруг срывались и летели, не тормозя ни на поворотах, ни под уклоны, – вагоны шатало, мотало, солдат било о стенки, сбрасывало с крыш и буферов; то, хрипя и натужась, паровозы вяло тащили длиннющие составы, часто останавливались и подолгу простаивали по брюхо в снегу. Некоторые казачьи части двигались в конном строю; другие шли походным порядком, соблюдая все меры предосторожности; были и такие, что шагали по шпалам, ведя за собою порожние вагоны в надежде раздобыть где-нибудь паровоз: большей частью это были сибиряки или уроженцы

центральных и северных губерний, здраво рассуждавшие, что ехать им не миновать и расставаться с вагонами не рука.

По ночам суровое – в клубах смолистого дыма – зарево охватывало полнеба: то с самого лета горели грозненские нефтяные промысла.

По всему Кавказу с треском разгоралась классовая, национальная и сословная война. Всплыли поросшие травой забвения старые обиды. Рука голодаря тянулась к горлу сытача. По горным тропам и дорогам переливались конные массы. Терек, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда были окутаны пороховым дымом, – в дыму сверкал огонь, сверкал клинок, – пожаром лютости были объяты народы тех земель. Уже крутенько ярилась станица, косясь на город и грозя шашкою своему давнишнему недругу, жителю гор.

Бурно митинговали аулы.

На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили:

– Цар бляд! Цара не нада, земля нада!.. Казах бляд! Казах не нада, война нада!.. Земля наша, вода наша, Кавказ наша!

Казаки, как в старину, выгоняли скот на пастбища под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных же на своей земле горцев резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, тут запарывали до полусмерти и отпускали с наказом:

– Вот твоя граница, костогрыз. Помни, ядрена мать, и детям и внукам своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь – отъем!

Караулов – наказной атаман терского казачьего войска, член Государственной думы – бросил клич:

– Казаки и горцы – братья. Казаки и горцы – хозяева Кавказа. Мужиков и всякую городскую рвань будем гнать с Кавказа плетями.

Фронтовики встретили Караулова на станции Прохладной – один вагон к паровозу прицеплен – и заговорили, заматерились:

– Как вы, господин атаман, казаков застаиваете, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об нашем брате, мужике, подумает?

– Геть, чертяки! – зыкнул чубатый атаманов гайдук. – Не шуметь у вагона, их высокоблагородие изволят отдыхать.

Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:

– Как вы, господин атаман, азията с русским стравливаете, казака с рабочим и крестьянина с казаком стравливаете? Когда будет конец такому зверству?

В это время, с пучагой разноцветных депеш в руке, прибежал другой гайдук и, на ходу бросив машинисту: «Поехали», тоже исчез в вагоне.

Паровоз гукнул и зашипел, готовый вот-вот тронуться, но солдаты стояли на путях сплошной стеной и не думали уступать дорогу:

– Как так, господин атаман, вы один на паровозе туда-сюда раскатываетесь, а нам понужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а у нас с тоски и голоду отстает от костей последняя шкура?

Вперед протискался, припадая на перебитую ногу, инвалид и с ожесточением принялся колотить костылем по лакированной стенке вагона:

– Вылазь, гад! – Изможденное лицо его было измято злобой. – Вылазь, курва!

– Вылазь! – подхватили и другие. – Вылазь, нам самим ехать охота.

В окне показался заспанный, хмурый атаман. Некоторое время он молча глядел на беснующихся солдат, потом, полуобернувшись, что-то сказал своим гайдукам и…

– Пулемет! – дико завопил инвалид и, подхватив свои костыли, заковылял прочь.

И точно, многие увидали в окне вагона хобот пулемета… Тогда, сколько ни было на станции фронтовиков, все посрывали из-за плеч винтовки и давай залпами садить в крытый синим лаком вагон. Так был казнен атаман Караулов. И вот уже он вместе с гайдуками выброшен на перрон, а издудырканный вагон до отказу набит солдатами, солдаты располагаются на крыше.

С паровозной будки говорит речь молодой казачок:

– Господа солдаты… Вам воевать надоело, и нам воевать надоело… Вы с фронта тикаете, и наш первый Волгский полк из Пятигорска чисто весь разбежался. Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь, и городские комиссары тоже сволочь. Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Отныне и до века не видать им нашего покора, не дождаться нашего поклона! Они дорываются стравить нас, дорываются заквасить землю кровью народной. Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней – землю пахать, вино пить да жинок своих любить…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.